

ОБИЧ МОЯ

– У него лицо всегда было таким удивлённым, словно он первый день на свете живёт и всё, что он видит, его или радует, или огорчает. Детское лицо, понимаешь? На меня смотрел и светился весь. Мне даже неудобно было. Я же знала правду, какая я на самом деле, а он ещё не успел меня узнать. «Словно слиток золота в руки упал» – вот как он обо мне говорил. Я-то обычная. Мелочная, обидчивая, ленивая. А он каждую секунду мне радовался. Как мне не полюбить его было? Под таким взглядом даже и камень бы не устоял. Идём куда-нибудь, на пляж или просто пошататься, а он по сторонам не смотрит, только мне в лицо. И я рядом, такая же балда. Иду, ног под собой не чую. Споткнулась однажды, упала на коленку и ладони ободрала. Сижу на асфальте, от обиды слёзы в глазах стоят. А он ладони целует. Мягко-мягко, как лошадь хлеб с руки берёт. Думаю: «А коленку поцелует?» Поцеловал, Аня, да. На корточки присел и поцеловал. У меня даже искры из глаз. И слёзы там, и искры, всё было. Четыре дня, Аня, четыре дня, можешь себе представить, как это много? Ты форточку закрой, дует.

– Ты принимала сегодня лекарство? – спросила Аня.

– Да, Аня, да. Закрой форточку, пожалуйста. Или не сиди под окном: тебе дует в поясницу. Будешь, как я, мучиться со спиной.

– Не буду, там лето, не хочу сидеть в духоте.

– Перестань спорить, Аня, а то не расскажу, что было дальше.

– Я знаю, баб, что было дальше. Мне не тринадцать лет, даже не восемнадцать. О мужчинах немного знаю. Всякие встречались. Но ты не плачь только, – торопливо сказала Аня.

В тесной комнате, обклеенной унылыми болотными обоями, пахло пылью, сухой травой и старым человеком. Со всех сторон людей обступали книги, вывезенные из города, списанные из местной библиотеки; книги занимали четыре этажерки от пола до потолка и письменный стол в углу комнаты, за которым, похоже, уже много лет никто не работал. В закрытое окно билась жирная домашняя муха. Аня сидела на римском стуле, подтянув колени к груди, потому что иначе не знала, куда деть руки. Она уже давно хотела проверить телефон, но это было бы неправильно.

– Знаешь как он называл меня? «Обич моя». «Миля моя». «Цветенце». Вот как. Я не все слова понимала. Некоторые уже потом перевела, когда словарь в библиотеке взяла и ласковые слова оттуда выписывала. Иногда что случится, я в ванной от всех запрусь, лягу чуть ли не в кпяток, реву и про себя повторяю: «Обич моя». Как заклинание, чтобы вспомнить, что вот есть один человек, который меня полюбил. А голос-то быстро забывается, Аня, быстрее всего я забыла его голос. Руки зато до сих помню.

– Звали-то его как?

– Я разве не сказала? Митко.

– Митька?

– Глухая тетеря. Митко.

– Брюнет?

– А вот нет, они там в большинстве чернявые, а он тёмно-русый. Мама у него была блондинка. Он лохматый такой был, волосы чуть ли не до плеч – наши-то все ребята коротко стриглись, мне непривычно было. Голову мне на плечо клал – щекотно. И запах, да. Как волосы любимого пахнут, забыть невозможно. Вот как запах детской головки запоминается навечно, так и тут.

Три месяца назад во время пробежки Аня наступила на трещину в асфальте; вечером позвонила Неля и сказала, что у бабушки инсульт. Перед глазами – разом – изогнутая трещина из детской приметы, на которую ни в коем случае нельзя было наступать. Чёрная, злая, поджидающая пешехода, как ядовитая змея.

И вот что ещё вспомнила Аня: как Неля, в семье старшая девчонка, рывком схватила за руку Аню – кажется, она ещё не ходила в школу – и ударила её затылком об оклеенную объявлениями стену магазина. «Ты что! – кричала на неё Неля. – Не знаешь, что на трещины наступать нельзя? Ты разве не знаешь, что теперь будет? Беда случится, вот что будет». Мелкая Аня, зажмурившись, лопатками елозила по бумажным чешуйкам бесполезных объявлений. Ей было больше обидно, чем страшно, но и страшно тоже. «Умрёт кто-нибудь теперь! – внушала ей черноглазая чумазая Неля. – Может, даже мама твоя», и когда вечером мама не сняла трубку, Аня ушла за ворота, присела на корточки и заревела, мешая слёзы с дорожной пылью.

Аня не любила ездить к бабушкам. Когда-то их было трое: три сестры. Две родные, одна двоюродная. Четвёртой сестрой, младшей, была Анина мама; брата у них так и не случилось.

Три сестры жили в соседнем городе, на самой его окраине, в своём доме. Никто из сестёр не бывал замужем, у двоих появились дети. Аню мама ссылала к сёстрам на летних каникулах, как обычно, на август, после двух смен в пионерском лагере. Аня не любила лагерь, но она и на третью смену бы осталась, лишь бы не ехать к родственницам. Никто из взрослых её здесь не обижал, однако в тесноте ей редко когда удавалось остаться самой с собою: позавтракать одной, посмотреть одной телевизор, почитать книжку в тишине было невозможно, если только не уходить из дома. И ещё была Неля. Аня и Неля почему-то считались лучшими подругами. На самом деле им так и не удалось подружиться.

Год назад из четырёх пожилых сестёр осталась в живых последняя.

– На пляж по вечерам ходили. Утром я не могла, а днём там всё сплошняком забито. Я, девчонка дикая, на море раньше никогда не была и впервые там увидела, что можно загорать на лежаке и под зонтиком. Считалось, что загорать необходимо, ведь как было: приезжает подруга с юга, все хвалят: «Какая загорелая, как негритянка, просто шоколадка». Или наоборот: «Ты что, совсем там не загорала?» А я не любила: скучно, жарко. Пекло настоящее! И раздеваться мне не нравилось, купальник у меня был – да просто слёзы, а не купальник. Какой удалось купить. Я в нём как каракатица: ноги короткие, животик, талии нет. Для Митко-то я, конечно, красавицей была, а что толку – раз дура, в номер возвращаюсь, душ, туда-сюда, зеркало запотевшее полотенцем протерла – и до слёз прямо. На пляже-то такие красоточки были, все при них: и глазки, и ножки, и попки. Стою, смотрю на себя, плачу: уеду – забудет. Местные девушки очень красивые. Осень, учёба... Где Ленка? Нет Ленки? Другая у него «обич моя». Я не помню, ты в Болгарии была?

– Нет ещё.

– Обязательно поезжай. Бери своего... а лучше не бери. «Солнечный Берег», запомнила? Вот как дадут тебе следующий отпуск в этой твоей конторе, билет покупай и лети. Потом расскажешь. Фотографии покажешь.

– Обедать будем? Есть хочешь?

– Не хочу.

– Неля сварила борщ.

– Неля совершенно не умеет готовить. Она не приспособлена к жизни! Кладёт в борщ томат-

ную пасту. Вообрази: не помидоры, а томатную пасту, и не добавляет туда фасоль. Не знаю, где она этого нахваталась. Ты ей не позволяй собой командовать. Вчера я попросила у неё дать мне хлеба с маслом и сахаром сверху посыпать. В детстве мой любимый бутерброд был: навернётся – и дальше гулять, до темноты. Так она развыступалась, дескать, тебе такого нельзя. Включила потом телевизор и уселась на диване, ноги расставив, будто баба на вокзале.

Аня пересела на край кровати и отряхнула крошки с простыни. «Надо постель перестелить сегодня же», – подумала, а вслух сказала:

– Расскажи ещё про море.

– Море... оно большое, оказывается. Как... всё. Вот море перед тобой, и оно там заканчивается, где и небо заканчивается. Тогда ещё не было Митко. Я с Надеждой Юрьевной вышла на берег. Тоже был вечер, мы только прилетели, даже вещи не разобрали. У меня ноги подкашивались от усталости и голода, но Надежда Юрьевна рвалась к морю. Сумерки, ветер, песок холодный. Я в воду зашла до колена: волны, платье намокло, завизжала, ну его выжимать. Потом заходим в номер, а у меня руки морем пахнут, ладонь лизнула вот так – солоно. И счастье, сколько счастья, Аня!

– Надежда Юрьевна – это та тетка, которой ты помогала с диссертацией?

– Да, по диалектам.... Только не с диссертацией, а с книгой. Я при ней была то ли секретарь, то ли компаньонка. Фрейлина, в общем. Три года я у неё проработала, она относилась ко мне уже как к бедной родственнице, вещи мне старые отдавала, косметику, духи однажды на доньшке принесла, «Пани Валевска» назывались. Я благодаря ей лучше всех подруг была одета. Ей врачи сказали пожить на море, с деньгами всё неплохо, муж все желания выполнял, только вот дома никогда не бывал. Она мне: «Со мной поедешь?» Я: «Меня не выпустят, я не комсомолка». Она: «Выпустят, не переживай!» И правда. Всё получилось. Только я всё же плохо с ней поступила под конец, когда Митко встретила. Каждый вечер – к нему, к нему... А она, наверное, скучала. Ей бы по-хорошему в санаторий было надо, но она панически боялась больниц. Теперь я её понимаю. Мы жили в гостинице, а в санаторий она ездила на такси на процедуры. Просит меня: «Будь в номере после обеда». А я что, один раз забыла, второй раз забыла... Молодость вообще самое жестокое время.

Бабушка замолчала.

– Я, правда, не могла раньше приехать, – сказала Аня. – Мы проект сдавали... там всё на мне. Мне и здесь по тридцать писем в день приходит. Мне очень, очень стыдно, – добавила она, краснея до кромки волос и раздирая ногтями свежий заусенец.

– Да я о тебе разве? Выпусти ты муху наконец-то! Неужели не жалко тебе животину?

Неля на кухне ела борщ. Аня налила себе полтарелки и села рядом с ней.

– Слушай, – спросила она Нелю. – А ты почему сюда помидоры и фасоль не кладешь?

– Она и тебя достала со своей фасолью?

– Нет. Странный просто вкус получается.

– Не хочешь – не ешь. Могла бы и сама что-нибудь сготовить. О чём она тебе рассказывала?

– Так, про жизнь.

– Про любовь? Про Митьку?

– Он Митко, – обиделась Аня.

– Какая разница? Народ славянский. Значит, Митька. Про него?

– Нет.

– А про кого же тогда?

– Ни про кого, дай поесть спокойно.

– Мне, Аня, кажется, что она всё выдумывает.

– С чего это ты так решила?

– Не знаю. Интуиция подсказывает. Никогда раньше она никому про него не говорила, фотографий нет, писем, естественно, нет. Твой дед учился с ней на одном курсе, это мы все знаем. Ещё один женатый к ней с полгода ходил, тоже не семейная тайна.

– И что?

– И ничего. Странно это. Лежит там и вспоминает свои двадцать лет. Мне рассказывала, как её ещё девчонкой, лет пяти-шести, мать учила уму-разуму, чуть ли не каждый вечер гоняла по комнатам ремнём, и как она на следующий день тыкала пальцами в свои синяки – насколько сильно болит, и как рассматривала эти синяки, каких они разных цветов. Вот разве может человек такое запомнить? Как моя мамочка умерла, так я плохого слова о ней сказать не могу, а эта и про ремень, и как из дома её выставили и в детский дом саму идти заставили. Во всех подробностях и со слезами, словно это только вчера с ней случилось. Мне кажется, выдумывает или где-нибудь в книжке прочитала. Про Митьку-то вообще детективная история.

– Почему детективная?

– Там же эту тётку, с которой она приехала отдыхать, за день до отъезда обокрали. Прямо из номера вынесли остатки денег, поиздержалась та уже, и серёжки, главное, с камушками непростыми. Тётка в крик, полиция, все дела. Подумали на Митьку и на бабу нашу, дескать, он взял, а она навела.

– Бред какой. А потом?

– А потом я не знаю. Она не рассказывала. Не придумала, наверное, дальше. Ты почему ешь без хлеба?

Аня выдохнула:

– Что врачи говорят, она встанет?

– Да ходит она неплохо, ей тренироваться надо. Ты бы лучше походила с ней по комнате, раз всё равно её сказки слушаешь.

– Неля, если деньги нужны, ты мне скажи.

– Нужны конечно. Разве деньги когда-нибудь не были нужны?

Аня открыла холодильник:

– Масло у вас есть? И батон.

– Бутербродов ей хочешь сделать? Масло кончилось. Хочешь, сходи в магазин.

Аня вышла за калитку и медленно пошла к остановке, вдыхая настоящий травяной дух ближнего луга и отмахиваясь от мошкары старой газетой. Идти ей было недолго, и она старалась шагать как можно медленнее. Навстречу ей шли какие-то местные, на которых она боялась поднять глаза. Ей было стыдно так, как только может быть стыдно человеку.

Она вспомнила, как однажды в детстве ушла гулять на воле сразу после завтрака, уличив минутку, когда все в семье были заняты огородом. Неля увидела её из-за забора и крикнула: «Ты куда?» – «Во вникуда!» – ответила ей Аня и бросилась бежать со всех ног, словно у самого дома или у забора могли, как в страшной истории, вырасти длинные-предлинные руки, схватить её и вернуть обратно.

На стене магазина, как и прежде, были расклеены объявления тех, кто хотел продать дачу, купить дачу, приобрести лодку или уголь. Аня купила масла и батон, а себе чёрного хлеба, чтобы обгрызть его горбушку по пути домой. И, конечно, обгрызла, подолгу держа во рту солоноватую хлебную твёрдость. У горбушки был вкус недолгой детской свободы.

– Спит? – спросила Аня, переступив порог.

– Спит, – ответила Неля.

– Что читаешь?

– Да там взяла... Диккенс, вот, – она показала Ане обложку. – Не писатель, а просто зануда какой-то.

Аня, не глядя на неё, ушла в бабушкину комнату и на цыпочках добежала там до окна, чтобы поплотнее задёрнуть шторы. После уличной прохлады запах старости больно ударил её в нос.

Бабушка спала у стенки, почти провалившись в щель между кроватью и стеной, и показалась ей совсем маленькой, состоящей из одних только косточек под слишком тёплым для лета одеялом.

«Обич моя, – сама себе сказала Аня шёпотом, пробуя слова на вкус. – Обич моя».

БЕГУН

Сергеич проснулся рано. С двенадцатого этажа гостиницы он долго и с удовольствием смотрел, как разбегается в разные стороны пока ещё незнакомый ему город: отметил зелёную шапку близкого парка, пунктирную полосу набережной, мелькающую за крышами, и переброшенный через реку мост. Форточка была открыта – иначе Сергеич не спал, в номере – светло, ветрено и радостно, линолеум под босыми ногами – тёплый, и хотелось скорее оказаться на улице.

В холле было ещё по-утреннему темно. С ментоловым вкусом зубной пасты во рту Сергеич вышел в ранний город и нетерпеливо, почти трусцой, устремился в ту сторону, где, как ему запомнилось, разлёгся парк. Едва ли не только что закончился дождь: асфальт блестел влажно, люди несли мокрые зонты, а дождевые черви ещё не все расплозились по газонам.

Заполняя вчера в гостинице анкету на серой бумаге, напечатанную лет двадцать назад, в графе «Цель приезда» он едва не указал правду: «Полумарафон», но, споткнувшись под тяжёлым взглядом женщины-администратора, написал скучное, не вызывающее ухмылки: «Турист». И всё же увидел в ответ сведённые в недоумении брови: в этот город, вероятно, туристы стремились нечасто.

Полумарафон должен был стать для него четвёртым за последние два года, а с того момента, когда Сергеич вечером ни с того ни с сего надел стоптанные кроссовки и не менее старый спортивный костюм, приговорённый к поездкам

на природу, и вышел на соседний школьный стадион, едва ли три года прошло. Ему самому было тогда весьма за шестьдесят – достаточно для того, чтобы на старте первого полумарафона у него взяла интервью милая девочка с местного телеканала.

Ему пришлось по душе массовые забеги – спортивные праздники, и нравилось ездить на забеги в соседние города. Он ждал таких поездок, как маленьких путешествий, намеренно прибывал за день-два заранее, чтобы успеть прогуляться по центральным улицам, пофотографировать, увидеть что-нибудь, о чём было бы можно рассказать Розе, купить для неё местных конфет или другого лакомства.

Вчера он неудачно позавтракал в гостиничной столовой и теперь выбрал недорогое с виду кафе рядом с парком. Кафе маленькое – на шесть столиков, и народу там было немного – парень в отдалении и за соседним столиком у окна девушка с пучком на голове, сидящая к Сергеичу спиной. Оба они торчали в телефонах, как это принято у молодёжи. Сергеич, в отличие от жены его Розы, такое поведение не осуждал, а наоборот: ему с детства был интересен технический прогресс, он читал фантастику, мечтал о разных штуках – например, чтобы можно было в любой момент поговорить с человеком по видеотелефону, и теперь, на старости лет, когда сын ставил ему на телефон новое приложение или дарил очередной гаджет, Сергеич радовался как ребёнок: он на самом деле оказался в будущем. И удовольствием было развинтить подаренный древний айфон и посмотреть, что там у него внутри.

Девушка была немного похожа на Розу – такую, какой он увидел её сорок лет назад, когда кинулся за ней в Тюмень. Сергей приехал вечером и боялся сразу идти к ней домой: там наверняка были её родители и брат, стоило только представить себе, как они на него уставятся: «Припёрся!» – и ноги становились ватными и отказывались идти по нужному адресу. Он решил заночевать в зале ожидания на вокзале, с утра ждать Розу у её института, а пока скоротать вечер в первом встречном кафе. Там он выпил пива, кофе, ещё пива, рассматривая в окно прохожих и представляя, как Роза идёт сейчас домой, по дороге заходит на почту и спрашивает, нет ли для неё письма, потом покупает в магазине хлеб, кефир и кислые зелёные яблоки, до которых она была большая охотница. И вдруг в толпе увидел её саму – прямую и тоненькую, в чём-то сером и,

несмотря на осенний холод, без шапки, с причёской-пучком, у неё больше не было чёлки. Она шла так, словно в её макушке была петелька, как у ёлочной игрушки, и кто-то тянул её вверх, шла по обыкновению своему скорой походкой – и когда Сергей выскочил из кафе, Роза уже скрылась из виду.

В первую встречу с Розой он, зачарованный, спросил: «Вы не из балета?», а она, смеясь, ответила: «Все одно и то же говорят! Нет, просто меня мама железной линейкой по спине била, когда я сутулилась».

Сергеич допивал чай, прозрачный, будто заваренный на третий раз. Официантка смотрела на всех с недовольством. Девушка, похожая на Розу, глаз от телефона не отводила, ела сырники левой рукой, изящно орудуя вилкой, а правой не переставала что-то набирать. У Сергея с Розой не то что такой роскоши, обычных домашних телефонов не было, и Сергеич до сих пор помнил, как ходил на телеграф, чтобы почтальон принёс Розе неожиданную весточку: «Доброе утро люблю». Шёл, ещё непроснувшийся, в утренней октябрьской хмари – местный завод снова выпустил в город пыльный удушливый газ – и думал о том, какое у Розы будет лицо: радостное, светлое, ещё прекраснее, чем обычно. Ей удивительно подходило её цветочное имя.

Сергеич бегал не ради результата, пробежать на несколько секунд быстрее или кого-нибудь обогнать – неинтересно, не было в нём ни грамма спортивной злости. Важным был только сам бег, а вернее, каким он во время бега становился. Превращаясь в бегущие ноги, Сергеич мало что видел вокруг. Самые трудные километры – первые, когда кажется, что ты не готов, не выдержишь, остановишься передохнуть и уже не сможешь снова бежать – сойдёшь с дистанции. Пять километров спустя деревья виделись ему зелёной завесой, дома – каменным полотном, люди, пришедшие поболеть, – какой-то живой массой. Сергеич взглядом упирался в асфальт, считал свои шаги в надежде продержаться вон до того дерева или фонарного столба, или до моста, или до поворота, или – если получится справиться со своим несправедливо немолдым телом – до финишной отметки.

В голове крутилось что-то совсем простое и очень родное, из своего детства, из детства сына: муха по полю пошла, муха денежку нашла, спят усталые игрушки, книжки спят, белеет парус одинокий в тумане моря голубом, солнечный

круг, небо вокруг, союз нерушимый республик свободных и ещё одна мысль: «Надо бежать, я могу, я могу, я всё ещё могу».

Местные бегуны в парке, где он обычно тренировался, эдакие молодые лоси в майках спортивного клуба, звали его «дед». На всех забегах ему встречались другие старики: кому за шестьдесят, бывали и старше, и настоящие спортсмены, и любители, все как один жилистые, сухие, поджарые, с морщинистыми лицами и крепкими мускулистыми ногами. Сергеич глядел на них – как в зеркало смотрелся, и увиденное не нравилось ему: если обойтись без зеркала и реже ходить по врачам, то хотя бы по утрам можно чувствовать себя на сорок пять. Других стариков он избегал и не без обиды замечал, что и они стоняются его.

Свой первый полумарафон он завершил пешком. Последние семь километров шёл тихоходом. Уже наградили чемпионов, надев им на шею сверкающие медальки, уже отыграла концерт приглашённая группа, сняли ограждающие ленты, убрали финишные ворота, народ разошёлся по домам, с груди и спины отлетел прилепленный номер 127, а Сергеич всё шёл и шёл оставшийся круг, и для прохожих он был не участником забега, а очередным замордованным жизнью пенсионером в спортивной одежде, неспешно гуляющим на свежем воздухе.

Через пять километров бежать становится проще: ноги сами несут, главное – не останавливаться. Любая заминка – воды попить, шнурок развязался – и всё, дальше – только пешком, еле-еле, с горячим камнем в груди, с одышкой, с тяжелыми ноющими ногами, которые ощущаются как деревянные, особенно в коленных чашечках. Ещё чуть-чуть – и заскрипишь. Слово и не было только что таким лёгким, проворным, бегущим пусть в жидкой струйке неопытных спортсменов, но – бегущим.

«Добегаешься до инфаркта», – предупредила в его мыслях Роза. «Солнце, бегает от инфаркта, а не наоборот». – «Ну-ну», – хмыкнула Роза и пропала.

Нужно было пробежать четыре круга по городу: парк, набережная, филармония, мост и обратно, и так четыре раза. На третьем круге, когда ноги двигались сами собой, как заведённые, Сергеич снова увидел Розу. Она мчалась, кажется, уже четвёртый круг – в группе ребят, которые бежали ради победы. Роза была как настоящая: живая, двадцатилетняя, в пропотевшей оранже-

вой майке и обтягивающих брючках, волосы, собранные в хвост, стегали её по спине. Она посмотрела назад, улыбнулась – и его словно крапивоой ожгло: Розочка, Роза. Он её лучше всего запомнил именно такой, юной, и фотографию на памятник выбрал сорокалетней давности.

Как же они сначала ругались! Как кричали друг на друга – подолгу, до хрипоты, не понимая, почему вдруг второй человек в их паре оказался вот таким. Роза сразу же начинала плакать, подолгу не успокаивалась, опухала лицом, икала и такой была жалкой, что почти ненавистной. Проревевшись, снова приходила ругаться, искала спасения у него – от него же самого, кричала, снова срывалась в слёзы, порывалась уйти со всем, навсегда, на вокзал, куда угодно, он хватал её за плечи и прижимал к себе сильно, до синяков, лишь бы не вырвалась, не убежала.

Он помнил, как она проснулась впервые с ним в одной палатке: они познакомились в Крыму, куда приехали дикарями – каждый со своей компанией. Как она дрожала после сна, худенькая, вся замёрзшая, с прохладными грязными ступнями размером с его ладонь, смотрела на него из-под густой отросшей чёлки; снаружи шумел дождь и ещё шумело море, они купались под дождём, было счастье. Как он спустя месяц посадил её на поезд до Тюмени и шёл, шёл, потом бежал куда глаза глядят, растерянный, пропадающий, неожиданно маленький. И как через несколько месяцев не выдержал, приехал к ней, прорвался через недоверие родителей, увёз. Поезд должен был прибыть домой ночью, Сергей не спал, а Роза закемарила, положив голову ему на колени, и, кажется, в ту ночь он выучил наизусть всё её лицо: и взглядом, и на ощупь, кончиками пальцев.

Им было по семнадцать лет.

В грудной клетке разливалась густая боль, бежать становилось всё сложнее – не хватало дыхания, ноги не чувствовались, оранжевая майка Розы маячила далеко впереди: единственный чёткий ориентир во влажном, душном, дрожащем мареве. Всё дальше и дальше от Сергея.

Он бежал и бежал, зная: как бы быстро и долго он ни бежал, ему никогда её не догнать.

ДЕНЬ ДУРАКА

Первоапрельским вечером кружил по ветру колкий дождь, смывал с обочин краплёные остатки сугробов, заставлял людей горбиться и

спешить в укрытие, выворачивал зонты наизнанку. По пути от остановки до дома Антон успел оконечеть, а одежду его можно было выжимать.

Дома оказались гости, «девочки» – мамы подруги с работы. Как было положено по пятницам, они культурно отдыхали после утомительной трудовой недели и к возвращению Антона из школы уже пели Пугачёву. «Бабские сопли», – раздражённо думал Антон, запираясь в своей комнате. В последнее время он едва ли не обо всём думал раздражённо.

Мама затянула свою любимую «переждать не сможешь ты трёх человек у автомата», и Антону хотелось заныть, завыйть, забраться глубоко в шкаф, в душный чехол, пропахший лавандой от моли, в котором мама в несезон хранила свою выстраданную рыночную норку. От её пения каждый раз ему думалось жалкое – например, как много лет назад в день рождения Антона они с мамой весь вечер ждали отца, который приехать обещал и приехал, но только чтобы подарок отдать: в машине ждала его женщина. Когда он уехал, Антон с мамой ели неразрезанный торт ложками, будто кашу, и допоздна смотрели КВН, поочередно начиная смеяться даже над несмешными шутками – чтобы невольно засмеялся и второй. Под утро Антон проснулся от резкой боли в животе и тогда он впервые увидел, что мама плачет. Она плакала совсем как девочка, вытирая глаза ладонью и хлюпая носом, пока хмурая врачиха скорой давила Антону на прихитый живот холодными острыми пальцами.

На кухне Елена Ивановна – мелкая, с морщинистым подвижным лицом и стрижкой, делающей её похожей на ананас, узнаваемо выводила: «Как же эту боль мне преодолеть?», словно эта песня была написана именно про неё. Давным-давно в Адлере у неё случился курортный роман с местным поэтом-многожёнцем. Антон об этом знал, потому что при нём болтали обо всём, не стесняясь и не понижая голоса, как если бы он был тумбочкой или дуршлагом.

Вторая подруга – Марина Сергеевна была в отделе младшая: на семь лет моложе мамы. Тощая, резкая, болтливая и будто бы всегда сердитая. Антонова мама, её начальница, часто говорила, что Марина постоянно опаздывает и вообще портачит (в их отделе это называлось смешным словом «оконявиться»).

Марина напоминала Антону девчонку, которую он когда-то видел в бабушкином дворе: девчонка та была длинная, лохматая, вечно ходила

в дурацких спортивных штанах и целыми днями торчала на улице. Она или читала книжку, сидя на качелях, или прыгала через резинку одна, натянув её между двумя столбиками, потому что никто с ней не дружил. Однажды Антон подкрался к ней сзади с крапивой в руке – ради хохмы, чтобы напугать. Он думал, что она, как нормальная, завизжит и убежит, а она, не ожидая его появления, испуганно застыла на месте. Антон не удержался, пощекотал её шею кончиком крапивного стебля. Девочка шёпотом ойкнула, закусил губу и ушла, слова ему не сказав. Она не нябедничала, но видеть её во дворе после этого стало ещё противнее.

* * *

Вечером по просьбе мамы Антон провожал Марину Сергеевну домой под своим зонтом. Она жила неподалёку, в одной из новостроек, в последние годы выросших на месте пустыря, где Антон когда-то похоронил в обувной коробке старенького морского свина Яшку.

Дождь лил ровным серым потоком, и казалось, что всё вокруг навсегда стало одинакового водяного цвета. Марина сама держала зонт. Она шла в расстёгнутом пальто, хотя у неё был на-сморг, и рукой, свободной от зонта, она то и дело вытирала пальцами под носом, натёртом до красноты. Антон плёлся рядом, в кроссовках хлюпала вода, и было непонятно, что он вообще делает рядом с нею: он или мама могли бы просто одолжить ей зонт.

Уже давно она просила звать её просто Мариной, и потому он старался никак к ней не обращаться.

– Слушай! – говорила ему Марина. – Я всё думаю, ты становишься похож на этого, как его там.... Актёр, снимался много лет назад в сериале про детектива и его собаку. Помнишь такое кино?

– Нет, – отвечал Антон, – не помню.

– Ну как ты можешь не помнить, все его смотрели! Там такой парень тёмненький, симпатичный! А собака – овчарка. Рекс. Вся страна смотрела, ну ты чего такой смешной!

У неё был такой громкий голос, что казалось, будто она кричит на Антона.

Как назло, Марина завела разговор о его грядущих экзаменах, выпускных и вступительных – все кому не лень в последнее время спрашивали его об экзаменах, как будто не было других тем. Это было, безусловно, важно, и именно поэтому

Антону не хотелось о них разговаривать. Он подкаивал, мычал и прятал лицо в капюшон.

У подъезда Марина споткнулась и схватила Антона за плечо. Он едва удержался, чтобы не скинуть её руку, точно она могла его укусить, и нечаянно заглянул ей в лицо.

Глаза её выглядели запачканными, словно она терла их грязными руками. И вся она стала какая-то обмякшая и потерянная. Пахло от неё сигаретами, мокрой псиной и густыми ванильными духами – такие же стояли на мамином комодике нетронутые. Волосы распушились от влаги, прилипли ко лбу и стояли мягким тёмным облаком вокруг головы. Она катала во рту леденец от кашля, подпирала щеку языком и казалась одновременно очень маленькой и очень взрослой. На неё всю, от круглых розовых мочек ушей и обветренных губ до стрелки на чёрных колготках, было смотреть... слова не подобрать: её хотелось потрепать по голове и завернуть в нагретое на батарее полотенце. Или в одну ладонь посадить, другой накрыть.

– Зайдём сейчас ко мне, – сказала Марина, – я маме твоей обещала кое-что передать.

Он послушно ждал в её однокомнатной квартире, напоминающей кукольный домик из картонной коробки – старшая сестра в детстве любила мастерить такие. Здесь тоже были стены в цветочек, занавески – прозрачный тюль и туалетный столик в углу на изогнутых ножках, как из набора мебели для сестричкиных барбей, только вместо розовой кровати под балдахином («будуар» – говорила сестра) под пледом бугрился широкий диван. Марина что-то искала на кухне, поругиваясь, хлопала дверцами шкафов.

К стене тенью жался худой чёрный кот, всем своим позвоночником выражая презрение. Он одновременно и смотрел и не смотрел на Антона.

– Ты его кресло занял, – предупредила Марина и снова исчезла на кухне.

Антон торопливо поднялся из шерстяного кресла и подошёл к окну. На подоконнике стояла мелкая плошка с уродливым кактусом, который жил жадно – во все стороны сразу.

Дождь по-прежнему шумел, как в гигантской душевой, и Антон вспомнил вдруг, как прошлым летом мама лежала в больнице по женской части – ничего особенного, но от слов «диагностическая операция» внутри делалось неподвижно. Марина Сергеевна однажды зашла к ним: принесла Антону еды – борщ в банке, половину ещё тёплого, завернутого в полотенце пирога с капу-

стой, а заодно приняла душ: у неё дома на три недели отключили горячую воду. Антон сидел тогда на кухне, ел пирог, старался не слушать, как шумит вода в ванной, и ему было по-дурацки стыдно из-за того, что у него дома, буквально в метре от него, стоит под душем маленькая голая женщина.

Марина подошла сзади и положила руки ему на плечи. Он почувствовал на шее её тёплое дыхание.

– Не сутулься, – попросила она, – некрасиво же.

Она должна была сразу убрать руки, но вместо этого задержалась, приблизившись буквально на полсантиметра. У Антона перехватило дыхание – в точности как во время баскетбольного матча ему в спину случайно угодили тяжёлым мячом: аккуратно в то место, куда Марина на мгновение коснулась щекой. Была ли это её шалость, желание поддразнить скромного мальчика, пьяная глупость или случайность, он никогда не узнает.

Внутри Антона, где должны ужиться мужской характер и гордое одинокое сердце, сейчас было тепло и влажно, как мякоть только что испечённого хлеба.

– Почему в такой тонкой куртке ходишь? – спросила Марина маминым голосом и поправила ему воротник. – Замёрз совсем. Вон руки какие красные. Чаю тебе налить?

– Нет. Спасибо, мне пора, – Антон отодвинулся, теребя молнию на куртке.

– Пойдём тогда. Дать тебе шарф? Не бабский, не бойся. У меня есть серенький такой, подойдёт.

В прихожей она вручила ему пакет:

– Тут варенье из айвы и вишнёвое. Я вам давно обещала принести и всё забываю. Его моя бывшая свекровь варит и привозит мне в промышленных размерах, а куда мне столько, я сладкое вообще не люблю. А она всё возит и возит.

По дороге медленно скользил троллейбус, похожий на огромную жёлтую рыбу с сияющими глазами. Под куртку пробирался ветер, но дождь почти перестал. Там, где не было луж, асфальт в свете фонарей блестел, словно пролитое масло. Мимо пробежал насквозь промокший человек в спортивном костюме, за которым плёлся марморный дог с отворачиванием на седой морде.

Посреди моста Антон остановился, глядя ваясь в густую темень парка. На другом берегу узкой кривоватой речки в зарослях круглый год жили местные утки, зажиточные и ленивые. Всякий раз, когда Антон собирался идти из школы через парк, он оставлял им хлеб. Сейчас уток не было видно, но они ночевали где-то там, у воды, и думать о них было приятно.

Антон с моста спустился в парк, сразу на берег. В воздухе остро и вкусно пахло свежестью и грибным супом. Фонари уже погасли, вокруг не было ни души. Ему нравилось чувствовать себя одиноким и непонятым, и в то же время будоражило ожидание чего-то невероятно хорошего. Будто звучала песня «Металлики» *Nothing else matters*.

Антон присел на высокий бордюр и тут же вскочил. Внутри него пульсировала радость, не дающая оставаться на месте.

– Утки! Утки, где вы? Ловите! – кричал Антон и, широко размахиваясь, швырял в воду подсохшие куски обеденной булки.

Он не знал этого, но был уже влюблён – аж до самой своей сердцевинки.

АСПАРАГУС

Оказывается, её звали Лена. Жуков этого не знал, потому что одному богу известно, когда он в последний раз заглядывал в школьную библиотеку. В школе она проходила мимо него беззвучно, здоровалась, опустив глаза, а он отмечал про себя: «Библиотекарша». Окликни она его в другом месте, он вряд ли бы вспомнил, кто она такая.

Лена шла за ним по лыжне, изо всех сил стараясь не отставать, и хотя в помощь ей он как мог замедлял шаг, постоянно приходилось её поджидать. У него были свои лыжи, старые и прирученные, а у неё прокатные, и всё шло наперекосяк: то ботинок вылетал из крепления, то сама Лена на ровном месте путалась в лыжах и комично, мешком валилась на бок, то она, явно не привыкшая к таким прогулкам, снова останавливалась перевести дух.

Стоял один из тёплых дней, редких для февраля, когда хочется сдёрнуть шапку и засунуть её в карман. Жуков в этом году впервые катался в лесу. Оказывается, он напрочь забыл вкус соснового воздуха и летящую радость от звука скользящих лыж.

В последнее время он часто видел в социальных сетях фотографии друзей на природе и

каждый раз отмечал с досадой и раздражением: «Молодцы, отдыхают, дома не сидят, надо бы тоже». Теперь ему было приятно ощущать себя спортивным, активным, не тратящим время впустую, и он думал о самом себе: «Молодец». Твёрдо решил, что каждые выходные надо на лыжах в лес, пока зима не закончилась, обязательно вставать пораньше, брать флягу с горячим чаем, чуть коньячку – и в лес. На душе было радостно, он думал о том, что уже восемь месяцев не курил, и о диссертации он думал тоже, но не с тоской, а с весёлым предвкушением хорошей драки.

Вчера был традиционный школьный выезд на турбазу – День здоровья посерединке зимних каникул. Весь вчерашний день старшеклассники играли в «Что? Где? Когда?» и участвовали в спортивных соревнованиях. Сегодня утром многие разъехались, но кто-то решил за свой счёт побыть здесь ещё несколько дней и воспользоваться каникулами, чтобы покататься на лыжах в своё удовольствие. Жуков сомневался, но важных дел в городе не было, и он решил задержаться.

Небо было ярко-голубым с белыми мазками облаков, сосны отбрасывали шёлковые тени. Снег лежал пуховыми сугробами невозможно чистого цвета. Жуков вспомнил вдруг, как в детстве ел снег: хотел заболеть и пропустить контрольную. Тот снег был городским, с виду чистым, как в лесу, но если поднести горсть снега к лицу, становилась видна мелкая чёрная пыль. Все равно он ел его, ел горстями, чтобы наверняка, и теперь отчётливо вспомнил сладкий водянистый вкус и как стыли десны, а ледяные кристаллики царапали язык. И обиду вспомнил, нахлынувшую на него утром, когда он ощутил своё тело неправильно и непоправимо здоровым.

Лена, торопясь, подъехала к нему, взмокая, румяная, в лыжном костюме похожая на неуклюжего ребёнка. Швырнула носом, сняла мокрые от снега перчатки и задышала в маленькие красные ладони, сложенные лодочкой. Из-под шапки выбивалась русые прядки, поседевшие от горячего дыхания.

– Нам ещё долго? – спросила Лена, оглядываясь по сторонам.

– Километра три, может, четыре. Вы устали?

– Нет! Не очень! Мы в детстве часто, мы с родителями по воскресеньям гуляли в бору, пока папа не умер. Красиво тут, правда? Хорошо! А запах какой! Но я очень давно не каталась, правда.

– Да и я, – отозвался он. – Но соревнования смотрю. Вы биатлон любите?

– Конечно, – Лена кивнула.

– А на горных лыжах кататься не пробовали?

– Нет, я боюсь.

– Не поверите – я тоже.

Снова поехали, и вскоре она осталась далеко позади: устала. За соснами мелькала её пожарно-красная куртка. Будь на Ленином месте его почти что бывшая жена, она только портила бы настроение, раздражая его неимоверно, он всю дорогу выговаривал бы ей: «Что плетёшься как каракатица?» – и не чтобы обидеть, а потому что такие слова уже давно были в их маленькой семье обыденными, нормальными – сама виновата: плохо катается, еле ноги передвигает, холодно оделась, вечно чем-то недовольна.

Лена догнала его и, отдышавшись, снова нагнулась к креплению. Он присел и помог, она сказала картаво: «Спасибо, Юрий». Для неё он был «Юллий». «Я ногу подвернула, в самом начале ещё, – оправдывалась Лена, потирая лодыжку, и торопливо добавила: – Да ничего страшного, мне не больно почти».

Жуков помог ей и отвернулся, растирая подмёрзшие губы рукой в перчатке – и вдруг Лена поцеловала его, прямо в перчатку и поцеловала. Он опешил, схватил её свободной рукой: она с закрытыми глазами уткнулась носом в его холодную щеку и дышала через раз. Казалось, что ещё чуть-чуть – и в наступившей тишине можно будет услышать, как опускаются в сугробы редкие снежинки.

* * *

Жуков просидел в своём номере до половины девятого, прочёл треть шведского детектива и дотянул до того времени, когда спать ещё рано, кто убийца – уже неинтересно, а заняться особо нечем. Он понимал, что должен к ней зайти и – отвратительное слово – поговорить, но надеялся, что она уже уехала, и жалел, что не уехал сам. В номере было ему душно, откроешь форточку – сквозняк, сидеть неудобно и в кресле, и на кровати, как ни скособочишься – неудобно, а от одеяла пахло сразу всеми в мире больницами, гостиницами и дальними поездами. У телевизора не работал звук, ящик только шипел, если шевелить антенну. Жуков и не помнил, когда в последний раз видел такой телевизор.

Ему хотелось крепкого чёрного чаю, но чайника в номере не обнаружилось. Кажется, где-то

недалеко, на этаже, находился буфет. Вчера вечером, после лыжных стартов, ребята притащили оттуда пакет с жареными пирожками и порезали их на закуску. Ребятами Жуков называл своих десятиклассников. Пирожки плавно превращались в закуску, Жуков делал вид, что в пластиковых стаканах плещется чистая фанта. Он считал, что лучше, если они выпьют водки под присмотром, а вернее, ему было всё равно: лишь бы никто не отравился, не подрался, не разнёс мебель в номере, а главное, не настучал завучу на его непедагогичное поведение. И он выпил фанты, делая вид, что это фанта, и закусил пирожком, и поболтал с ребятами о том о сём, а потом и вовсе ушёл спать.

Жуков прошёл мимо буфета и поднялся на последний, третий этаж, где под стеклянным куполом-колпаком агрессивно и гормонально гудел бар.

Под мелодии и ритмы двадцатилетней давности переминались на узкой полоске танцпола дамы, повиливая бёдрами и щедро делясь с миром своей пьяной красотой. Плоский экран, привинченный к стене, показывал хоккей, и четверо квадратных мужиков, сбитых просто и неладно, синхронно рычали и кричали на игроков.

Жуков снова подумал о чае, но попросил пива. За шатким столиком он смотрел одновременно и в телефон, и на девушек. Одна из них не столько танцевала, сколько демонстрировала себя. Как манекенщица, показывающая платье на подиуме. Другая была весёлая, скакала молодой козочкой, танцевать толком не умея. У неё были крепкие спортивные ноги и тонкая талия, стиснутая лаковым ремнём. Жуков присмотрелся и узнал в этой, озорной, Петровскую из одиннадцатого «Б», неглупую и старательную, за последнюю контрольную он поставил ей пятёрку с минусом. За дальним столиком девушек ждали парни, на лица знакомые, и Жукову стало обидно, что в школе у него не было ни взаимной любви, ни своей девушки.

Он спустился на свой этаж и там, в холле, провалившись в пыльный диван, наблюдал, как плавают в аквариуме оранжевые равнодушные рыбы; потом постучал в номер к Лене; она открыла ему, радуясь, и с порога предложила пить чай и посмотреть телевизор.

Лена с ногами залезла в кресло, подтянув колени к груди, и стала совсем маленькой. Она была в сером спортивном костюме, влажные волосы собраны в хвост, на ногах – шерстяные носки,

какие продают бабушки у входа на рынок. Жуков сел на подлокотник её кресла и почувствовал, что пахнет от Лены шампунем (Жуков говорил, как мама: «шампунью») и, похоже, бальзамом «Звездочка».

Показывали повтор какого-то новогоднего концерта, на экране радовались и смеялись телевизионные люди, так радовались и смеялись, как будто были они ненастоящие, силиконовые. Один певец напомнил Жукову пуделя, и он принялся рассказывать про свою собаку, умершую несколько лет назад: этот пудель, в прошлой жизни ярый борец за трезвость, не мог видеть на столе бутылку с алкоголем и всякий раз поднимал оглушительный лай. Лена сама не рассказывала ничего, только поддакивала, смеялась, задавала вопросы.

Жукову нравилось, как она улыбается, как смеётся его шуткам, и нравилось ещё, что сама она говорит мало, не перебирает школьные сплетни, не поддерживает попытки Жукова зло пошутить о коллегах, за которые ему сразу становилось стыдно. В какой-то момент Жукову показалось, что они уже давно муж и жена. Её легко было представить в своей квартире, и на кухне, и в спальне с книгой, и в спальне без книги, и с метёлкой для пыли, и перед телевизором, вот прямо такую же, как сейчас.

Жукова совсем разморило, и единственное, что ему хотелось сделать с ней сегодня вечером, – поцеловать в макушку, пожелать спокойной ночи, уснуть рядом, угнездившись под одеялом в позе ложек.

Лена, задрав голову, смотрела на шкаф. Там, наверху, стояла пыльная плоская с цветком, едва зелёным и тоже пыльным, по задумке природы – кудрявым, а на самом деле реденьким и жалким.

– Аспарагус, – сказала Лена.

– Откуда ты знаешь?

– Я цветы люблю. У меня и дома много, и в библиотеке... Видел сколько цветов в нашей би-

блиотеке? Когда я только пришла, такой же почти сдохший был, Иванова его выбросить хотела, а я ничего, выжила: может, расцветёт скоро.

Кто такая Иванова, Жуков не знал, и цветов в библиотеке он не помнил.

– Поливать его надо, – Лена придвинула к шкафу стул и с кувшином в руках потянулась к цветку, опасно балансируя на цыпочках.

Жуков обхватил её за талию и снял со стула, притиснул к себе. Поцеловал в пушистую макушку, а потом, не удержавшись, в родинку на шее. Она на стул поставила кувшин, повернулась, ладонями схватила Жукова за щёки, будто ей нужно было передать ему нечто важное, ответила: «Тихо», стукнулась лбом о его лоб: бум-барабум. Поцеловала в уголок улыбки, и он в ответ тоже, не раз и не два, с закрытыми глазами чувствуя её улыбку, нежный запах волос у виска, каплю серёжки, снова родинку, и показалось ему, что никогда в жизни, дурацкой, полной раздрая и раздрага жизни, он не отпустит Лену от себя дальше, чем на пару метров.

* * *

В воскресенье уехали в город на раннем автобусе. Лена сказала, что просыпаться до десяти утра – это ежедневная мука, и, к счастью, почти сразу уснула, завалившись вбок.

Жуков смотрел в полудрёме на поля, перелески, посёлки, застывшие в серо-сиреневой утренней дымке, на закутанных по глаза людей на остановках – ночью подморозило изрядно; он нырял в сон, вздрагивая, всплывал и снова видел в профиль Ленино лицо – снулое, замятое и незнакомое. Он не знал, что приключилось с ними вчера, и вообще ничего о своей жизни он не знал.

На въезде в город он обеими ладонями взял её за руку, Лена во сне улыбнулась ему. Жуков, отчего-то на неё рассердившись, отодвинулся и спрятал руки в карманы.

